**Яков ХЕЛЕМСКИЙ**

**Две судьбы**

\* \* \*

Есенин в своём «Железном Миргороде» писал: “Мать честная! До чего же бездарны поэмы Маяковского об Америке! Разве можно выразить эту гранитную и железную мощь словами? Это песня без слов”.

Недавно, перечитывая знакомые строки, я вдруг озадачился: Есенин побывал с Дункан в Штатах в 1922–1923 годах, а Маяковский совершил заокеанское путешествие в двадцать пятом. О каких его “бездарных” поэмах идёт речь? Стал обзванивать друзей, и мне напомнили, что ведь в поэме «150.000.000.», завершённой в двадцатом, есть главы, где Владимир Владимирович, ещё не бывавший в Америке, вовсю честит эту страну и её президента Вильсона. Вот что имел в виду Есенин.

Что же касается невозможности выразить словами “гранитную и железную мощь”, Сергей Александрович всё же попытался сделать это, правда, не в стихах, а в прозе, и, надо сказать, небезуспешно. Многое в «Железном Миргороде» не устарело и сегодня.

Нет, он не был в безоговорочном восторге от увиденного, о чём свидетельствует блистательно найденное название. Но в его записях начисто отсутствуют “советская собственная гордость” и заданность смотреть на “буржуев” свысока.

Есенинские наблюдения разноречивы, порой весьма прозорливы, уважение соседствует в них с иронией. Отдавая должное техническому совершенству и внешней цивилизованности Штатов, поэт с невольной горечью вспоминает о нашей отсталости, причём судит о ней здраво, а иногда и беспощадно: “На наших улицах слишком темно, чтобы понять, что такое электрический свет Бродвея. Мы привыкли жить при свете луны, жечь свечи перед иконами, но не перед человеком”.

Разрядка в конце фразы моя. Как по-своему образно сказано здесь об исконном обычае чтить святых, боготворить абстрактное понятие “народ”, но не ставить свечку перед реальной личностью, пренебрегая её потребностями и правами. Как современно это звучит!

Однако в «Железном Миргороде» есть строки, где Есенин абсолютно сходится с Маяковским. Вспомним стихотворение «Бруклинский мост», где Владимир Владимирович, уже повидавший заокеанское громадьё, воздаёт должное конструкторскому гению американцев: “Если придёт окончание света, планету хаос разделает в лоск, и только один останется этот над пылью гибели вздыбленный мост, то, как из косточек тоньше иголок тучнеют в музее стоящие ящеры, так с этим мостом столетий геолог сумел воссоздать бы дни настоящие... Смотрю, как в поезд глядит эскимос, впиваюсь, как в ухо впивается клещ. Бруклинский мост... Да... Это – вещь”.

А вот несколько фраз из есенинского очерка: “Если взглянуть на ту беспощадную мощь железобетона, на повисший между двумя городами Бруклинский мост, высота которого равняется высоте двадцатиэтажных домов, всё же никому не будет жаль, что дикий Гайавата не охотится здесь за оленем”.

Крестьянский сын и убеждённый урбанист написали почти одно и то же. Но это не помешало Есенину высказать своё мнение о внутренней сути жителей Штатов, лишённых, по его мнению, душевности и каких бы то ни было раздумий: “Владычество доллара съело в них всё стремление к каким-либо сложным вопросам. Американец, погружённый в «buisness», остального знать не желает”.

По сути дела, то же самое повторяет Сергей Александрович в письме сестре Екатерине. С добавлением, что на искусство этим делягам “начихать. Разве что Мюзик-холл”. (Если в последней фразе “мюзик-холл” заменить современными выражениями: “попса”, “ток-шоу”, многое напомнит о том, что нынче наблюдается у нас.)

Настроения у Есенина быстро меняются. После строк о бездушии американцев возникают совершенно иные рассуждения. В письме Мариенгофу читаем: “...На кой чёрт нужна людям эта душа, которую у нас в России пудами меряют. Совершенно лишняя штука – эта душа в грязных валенках, с грязными волосами. С грустью, с испугом, но я уже начинаю говорить себе: застегни, Есенин, свою душу, это так же непристойно, как расстёгнутые брюки”.

И вдруг снова поэт перекликается с Маяковским. Так же пронзительно, как строки: “Я хотел бы жить и умереть в Париже, если б не было такой земли – Москва”, воспринимается есенинское письмо, адресованное чуть позже тому же Мариенгофу: “Лучше всего, что я видел в этом мире, это всё-таки Москва. Ты сейчас, вероятно, спишь, когда я пишу это письмо к тебе. Потому что в России сейчас ночь. А здесь – день. Вижу милую, остывшую твою железную печку, тебя, прикрытого шубой.
Бог мой, лучше было есть глазами плавающий дым, чем быть здесь”.

\* \* \*

Но отвлечёмся от американских впечатлений. Поразмышляем о сосуществовании двух больших поэтов в тогдашней литературе. Они, такие разные, появились почти одновременно, словно по велению свыше. Не будь их, русская словесность десятых–двадцатых годов выглядела бы намного беднее.

Что ни говори, а Есенин и Маяковский знали цену друг другу. И вражды, по сути дела, между ними не существовало. Они были настолько самодостаточны и популярны, что серьёзной ревности или зависти возникнуть не могло. Порой происходил обмен взаимными уколами, адресованными устно или печатно, но это диктовалось не столько личными, сколько групповыми интересами.

Вероятно, запомнив есенинский выпад в «Железном Миргороде», Маяковский в своём знаменитом монологе, произнесённом перед пушкинским памятником, перечисляя своих собратьев по перу, не преминул сказать и такое: “Вот Есенин, мужиковствующих свора. Смех! Корова в перчатках лаечных. Раз послушаешь... Это ведь из хора! Балалаечник!”

Скорее, остриё этого пренебрежительного высказывания направлено на “мужиковствующих свору”.

Это подтверждается более поздним признанием Владимира Владимировича: “Мы ругались с Есениным часто, кроя его, главным образом, за разросшийся вокруг имажинизм”. Раздражал не он, претило окружение. “...Я встречался с Есениным несколько раз, встречи были элегическими, без малейших раздоров... В последнее время у Есенина появилась даже какая-то явная симпатия к нам (лефовцам), он шёл к Асееву, звонил по телефону мне, иногда просто старался попадаться”.

Нужны ли комментарии?

Скажу больше, при всей их несхожести, житейской и творческой, несложно обнаружить у них общие черты.
Во-первых, влияние, оказываемое ими на читателей, массовый интерес к ним, споры вокруг них. Задолго до Евтушенко они имели право сказать: “Поэт в России больше, чем поэт”.

Во-вторых, тяга Есенина к лефовцам не вызывает удивления. Она ведь давала себя знать и в раннюю пору.

“Звери, звери, приидите ко мне в чашки рук моих злобу выплакать! Не пора ль перестать луне в небесах облака лакать? <...> Если голод с разрушенных стен вцепится в мои волоса, – половину ноги моей сам съем, половину отдам вам высасывать”.

“Я нарочно иду нечёсаным, с головой, как керосиновая лампа, на плечах. Ваших душ безлиственную осень мне нравится в потёмках освещать”.

Давайте разобьём эти агрессивные тирады лесенкой или выстроим столбиком – чем не начинающий Маяковский?

А это Есенин. Первые строфы из стихотворения «Кобыльи корабли» (1919), кстати, проиллюстрированного другом поэта художником Якуловым. Вторая выдержка из «Исповеди хулигана» (1920).

Читаем дальше: “До Египта раскорячу ноги, раскую с вас подковы мук... В оба полюса снежнорогие вопьюся клещами рук. Коленом придавлю экватор и, под бури и вихря плач, пополам нашу землю-матерь разломлю, как златой калач” («Инония», 1918).

“Полно кротостью мордищ праздниться, любо ль, не любо ль – знай бери. Хорошо, когда сумерки дразнятся и всыпают вам в толстые задницы окровавленный веник зари” («Сорокоуст», 1920). Чувствуете явное увлечение будетлянами?

Об этих совпадениях из парижского далёка высказался Георгий Адамович: “Блоковское влияние признают в Есенине все, влияние Маяковского как будто не замечается... Неверно, исторически и объективно, видеть в рифмованной ругани Есенина нечто его личное. Это в нём кричит Маяковский”.

А у нас, на родине, Иван Никанорович Розанов удивлённо заметил, что “поэт из народа” подражает Маяковскому.

Подражание? Только ли? Здесь и родство темпераментов, выражавшееся иногда и в манере чтения своих стихов. Вспомним знаменитую запись чтения «Пугачёва» (“Проведите, проведите меня к нему!”).

Есть и другие грани этого родства.

Известна строфа Маяковского, им опровергнутая, однако навсегда оставшаяся в нашей памяти как свидетельство его ранимости: “Я хочу быть понят моей страной. А не буду понят, что ж, по родной стороне пройду стороной, как проходит косой дождь”.

Мог такое написать Есенин? Конечно, мог. Вспомним хотя бы такие его строки: “Разберёмся во всём, что видели, что случалось, что сталось в стране, и простим, где нас горько обидели по чужой и по нашей вине”.

В лирических откровениях обоих поэтов слышится трагизм, звучит, иногда громко высказанная, иногда приглушённая, обида.

\* \* \*

После смерти Есенина высказывались многие суждения о том, что привело поэта к столь жестокому концу. Одни всё сводили к пьянке и богемному образу жизни, другие судачили об отрыве от жизни народа (!). Много лет спустя возникли вздорные, притом дурно пахнущие измышления о том, что поэт был убит, хотя существует его предсмертное восьмистишие.

Появилось в ту пору множество траурных стихов. Пожалуй, эти рифмованные некрологи не все теперь помнят.

Зато поэтический реквием, созданный Маяковским, до сих пор звучит сильно и скорбно. Перечитывая это стихотворение, так и чувствуешь, что у автора “в горле горе комом”: “Навсегда теперь язык в зубах затворится. Тяжело и неуместно разводить мистерии. У народа, у языкотворца умер звонкий забулдыга подмастерье. И несут стихов заупокойный лом”.

Владимир Владимирович осуждал не только поспешные стихи, но и пуританские заявления иных критиков, пародируя их мнение: “Заменить бы вам богему классом, класс влиял на вас и не было бы драк. Ну, а класс-то жажду заливает квасом? Класс он тоже выпить не дурак”.

Печаль, нежность и, конечно, полемика: “Лучше уж от водки помереть, чем от скуки”. Что ни строка – афоризм.

Стоит перечитать и статью Маяковского «Как делать стихи». Она ведь вся посвящена тому, как писалось посмертное посвящение Есенину. Эта вещь хорошо известна, поэтому хочу обратить внимание лишь на те её строки, где объясняется, почему изменены два слова в первой строфе, ибо эта замена свидетельствует о высокой душевной чуткости, казалось бы, неожиданной для Маяковского, привыкшего высказываться резко и напрямую.

Речь идёт о начальном варианте строки: “Ни аванса Вам, ни бабы, ни пивной”. Владимир Владимирович пишет: “Урезать надо: «ни бабы». Почему? Потому что эти бабы живы. Называть их так, когда с большой нежностью им посвящено большинство есенинской лирики, – бестактно. Потому и фальшиво, потому и не звучит”.

Святые слова!

Как же низко пала нравственность, если после смерти самого Маяковского на женщин, которых он любил, выливались ушаты грязи. И прежде всего доставалось, конечно, Лиле Брик. Но к этому мы ещё вернёмся.

\* \* \*

Много всякого было написано в связи с уходом Владимира Владимировича. Некоторые объяснения произошедшего звучали убедительно: болезненное состояние, равнодушие коллег к выставке «20 лет работы», общая усталость, разрыв с лефовцами и никчёмное вступление в РАПП, признание поэта – “любовная лодка разбилась о быт”, наконец, отказ в парижской визе.

Тем не менее много лет спустя, как и в случае с Есениным, нашлись провокаторы, которые выдвинули версию об убийстве. Опять же, несмотря на много раз публиковавшуюся предсмертную записку поэта, прозвучавшую как гениальная концовка его творческого присутствия в этом противоречивом мире. На краю жизни поэту не изменила ирония. Чего стоит примечание к просьбе не сплетничать – “покойник этого не любил”. Не всем заметная, но поразительная щепетильность. Каламбур “инцидент исперчен” принадлежал острослову Арго. И, чтобы не быть посмертно обвинённым в плагиате, Маяковский уточняет: “Как говорят...” Наконец, в этом кратком послании, не боясь возможного злословия, в состав своей семьи поэт включает Лилю Брик и Веронику Полонскую. Причём Лиля Юрьевна возглавляет этот список. Брошен вызов обывателям, пуританам, недругам.

\* \* \*

Не так давно, в 1999 году, благодаря издательству «Деком» (Нижний Новгород) увидела свет рукопись Василия Абгаровича Катаняна, близкого друга Маяковского, давнего исследователя его творчества, наконец, спутника поздних лет Лили Юрьевны. Рукопись пролежала на полке четверть века (!). Называется книга «Распечатанная бутылка». Из океана забывчивости и равнодушия извлечён и откупорен сосуд, содержащий много бесценных подробностей и вдумчивых наблюдений, неизвестных ранее документов. Особенно значителен раздел «Мрачная хроника», а в нём выделяется глава «Операция “Огонёк”», повествующая о гнусной серии клеветнических статей, опубликованных в конце шестидесятых на страницах софроновского журнала.

Эти наветы вызвали возмущение многих известных деятелей культуры. Катанян приводит протестующие письма К.Симонова, И.Андроникова, С.Кирсанова, Б.Слуцкого в секретариат Союза писателей, в «Известия», в тогдашние руководящие инстанции. Результат? Либо ни слова в ответ, либо уклончивые отписки. Клеветники остались безнаказанными, полемику с ними сочли “нецелесообразной”.

В книгу включена статья Эльзы Триоле, напечатанная в парижской газете «Les Lettres franзaises», изобличавшая бессовестную ложь, злобные поклёпы на Лилю Брик. Эта убедительная отповедь сообщила, помимо всего прочего, одну важную подробность. Кляузники распространили миф о том, что в парижской визе поэту отказали по причине активных усилий Лили Юрьевны, ревновавшей Маяковского к Татьяне Яковлевой и опасавшейся, что он останется во Франции.

“Сейчас я скажу вам, почему Маяковскому не дали визы, – писала Триоле. – Её не дали потому, что он её не просил. А если бы и просил о ней, то позднее отказался бы от этой просьбы”.
Оказывается, к тому времени Яковлева собралась выходить замуж, и Владимиру Владимировичу об этом стало известно.

Конечно, статья в наших газетах не появилась. Но правоту Эльзы Триоле подтвердили позднейшие разыскания.

Василий Васильевич Катанян, подготовивший к изданию рукопись и прокомментировавший её, сообщает в одном из своих примечаний: “...Журналист В.Скорятин, проведший в девяностые годы тщательные раскопки в лубянских и наркоминдельских архивах, доказал, что за выездной визой поэт не обращался. Маяковский понимал, что Яковлева не поедет с ним в СССР, а стать невозвращенцем он не собирался, – как бы он ни был увлечён Татьяной, он понимал, что без языка он за границей – никто”.

\* \* \*

Самое грустное, что вмешательство в личную жизнь корифеев стиха продолжалось и в дальнейшие годы. Здесь уместно вспомнить и другое, тоже непристойное вторжение в отношения Бориса Пастернака с Ольгой Ивинской. Не будем утверждать святость этой красавицы, но она была дорога Борису Леонидовичу. А её пребывание в лагерях и выдвигавшиеся против неё обвинения в связи с публикацией «Доктора Живаго» прежде всего были нацелены на то, чтобы устрашить Пастернака и укоротить его жизнь.

Но независимо от всего никто не имел права унижать в печати женщину, благодаря которой были созданы такие лирические шедевры, как «Зимняя ночь», «Хмель», «Осень», «Ева», «Без названия», «Лето в городе».

Предвидя нападки и оскорбления, Борис Леонидович писал в «Свидании»: “Но кто мы и откуда, когда от всех тех лет остались пересуды, а нас на свете нет”.

Здесь придётся кстати и другое высказывание Пастернака в прозе, касающееся уже Натальи Николаевны Гончаровой. Ведь даже ей в разное время адресовались колкости мемуаристами и пушкиноведами.

“Мне всегда казалось, – писал по этому поводу Борис Леонидович, – что я перестал бы понимать Пушкина, если бы допустил, что он нуждается в нашем понимании больше, чем в Наталье Николаевне”.

Нам остаётся лишь учиться у классиков нравственной чистоплотности. Особенно в наши дни, когда компромат вошёл в силу, а репортёрская бесцеремонность не знает предела.

\* \* \*

Но вернёмся к причинам драматического ухода Маяковского. Тем, кто не в состоянии разобраться в одной из них, может быть, главной, советую обратиться к содержательной, тоже с большим опозданием дошедшей до нас книге Юрия Анненкова «Дневник моих встреч» с многозначительным подзаголовком «Цикл трагедий».
Анненков – яркий художник, создавший портретную галерею выдающихся деятелей русской культуры, оказался также одарённым и объективным мемуаристом.

Эмигрировавший из России, активно отвергавший советскую действительность, лишившую его родины, он, казалось бы, должен был резко осуждать Маяковского, наступившего на горло своему таланту во имя порочных идей. Но, ценя творческие возможности великого поэта, покорённый его личностью, он во время приездов Владимира Владимировича во Францию дружески общался с ним. Вот что писал Анненков об этих встречах: “Чувство дружбы и уважения к Маяковскому до сих пор живо во мне. Я никогда не скажу о нём ничего дурного. Но мне неизбежно придётся говорить о его трагической судьбе, судьбе поэта в Советском Союзе”.

Вот что сказано о Маяковском его последних лет. Поэт понял, по словам художника, “что можно быть «чистокровным коммунистом», но одновременно совершенно разойтись с «Коммунистической партией» и остаться в беспомощном одиночестве”.

Свидетельство тому «Клоп» и «Баня» – сатиры на существовавшую реальность, попытки сказать о том, что программируемый идеал искажён бюрократами, использующими власть для личных благ. «Клоп», ярко поставленный Мейерхольдом, был вскорости изъят из репертуара. Желание Всеволода Эмильевича возобновить спектакль в 1936 году окончилось неудачей. «Баня», ещё более противопартийная, показанная впервые 19 марта 1930 года (за месяц до самоубийства), была разругана и тоже вскоре запрещена.

Прочитаем строки Анненкова о последней встрече с Маяковским в Ницце, в 1929 году, строки, которые невозможно читать без глубокого сострадания: “Мы зашли в уютный ресторанчик около пляжа. Несмотря на скромный вид этого трактирчика, буйябез был замечательный. Мы болтали, как всегда, понемногу обо всём и, конечно, о Советском Союзе. Маяковский между прочим спросил меня, когда же я, наконец, вернусь в Москву? Я ответил, что больше об этом не думаю, так как хочу остаться художником. Маяковский хлопнул меня по плечу и, сразу помрачнев, произнёс охрипшим голосом:

– А я возвращаюсь... так как я уже перестал быть поэтом.

Дальше произошла поистине драматическая сцена: Маяковский разрыдался и прошептал еле слышно.

– Теперь я... чиновник.

Служанка ресторана, напуганная рыданиями, подбежала:

– Что такое? Что происходит?

Маяковский обернулся к ней и, жёстко улыбнувшись, ответил по-русски:

– Ничего, ничего... Я просто подавился косточкой.

Покидая ресторан, мы пожали друг другу руки:

–Увидимся в Париже.

–В Париже.

Маяковский пошёл к своему отелю, я – к моему. С тех пор я больше никогда не видел Маяковского”.

\* \* \*

Памяти Владимира Владимировича, как и Есенина, посвящено множество стихов. Среди авторов находим высокие имена.

Я выбрал из этого потока три стихотворения, отличающиеся тем, что они обращены к обоим поэтам. Хочется завершить выдержками из этих двойных посвящений предлагаемые мной страницы. Авторы стихов весьма несхожи и по манере письма, и по особенностям пройденного пути, но каждый из них проникновенно поделился своей любовью и скорбью.

Марина Цветаева, как известно, тоже добровольно ушла из жизни при стечении невыносимых обстоятельств. Но так же, как Маяковский в своё время укорял Есенина в неожиданном самоубийстве, так и Марина Ивановна, хоть и с пониманием отнеслась к происшедшему, всё же высказала своё: “Негоже!” Возник страстный и сбивчивый диалог. Прислушаемся ещё раз к этим прерывистым строчкам, к этому импульсивному ритму: “Советским вельможей при полном Синоде:

«– Здорово, Серёжа!

– Здорово, Володя!

– Умаялся?

– Малость.

– По общим?

– По личным.

– Стрелялось?

– Привычно.

– Горелось?

– Отлично.

– Так, стало быть, пожил?

– Пасс в некoтором роде...

– Негоже, Серёжа!

– Негоже, Володя! А помнишь, как матом во весь свой эстрадный басище – меня-то обкладывал?

– Ладно уж...

– Вот те и шлюпка, любовная лодка! Ужель из-за юбки?

– Хужей из-за водки. Опухшая рожа с тех пор и на взводе? – Негоже, Серёжа.

– Негоже, Володя... А что на Рассее – на матушке?

– То есть где?

– В Эсэсэсэре что нового?

– Строят... Мост новый заложен. Да смыт половодьем. Всё то же, Серёжа!

– Всё то же, Володя!»”

Краток, афористичен, сердечен Константин Ваншенкин – поэт поколения тоже трагического, почти целиком уничтоженного на фронте: “Поля с цветущими хлебами и улиц каменный простор... Их часто сталкивали лбами и сталкивают до сих пор. Небрежно бьют одним другого. И с радостью – наоборот. А их сияющее слово неувядаемо живёт. Один – коса звенит издревле. Другой – цеха гремят вдали. Они, как город и деревня, быть друг без друга не могли”.

Ярослав Смеляков, чья участь была безжалостна и противоречива, полна удач и заблуждений, исчезновений и возвратов, после войны, плена и очередного пребывания в катакомбах Гулага, написал простые и безутешные строки: “Были давно два певца у нас. Голос свирели и трубный глас... Над Ленинградом метёт метель. В номере тесном молчит свирель. В окнах московских блестит апрель. Пуля нагана попала в цель. Тускло и строго блестит глазет. Кровью намокли листы газет... Благоговея, открыть тома. Между обложками – свет и тьма...”

\* \* \*

В этих, столь различно звучащих отрывках, на мой взгляд, отражено то, о чём я постарался сказать в своём очерке. Перед нами две славные и жестокие судьбы, две открытые души, два поэта, незыблемо вошедшие не только в литературную, но и во всеобщую историю нашей сверхбурной современности.